

ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА

Женщины
ЭПОХИ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва - 1958

Галина Серебрякова

ЖЕНЩИНЫ
Э П О Х И
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ



Веб-публикация: *Vive Liberta*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие А.З.Манфреда

Теруань де Мерикур

Симона Эввар

Манон Ролан

Клер Лакомб

Люсиль Демулен

Елизавета Леба

Мадам Тальен

Жозефина Бонапарт

Люсиль Демулен



В одной из невысоких светлых зал Музея Великой французской революции в Париже висит портрет молодой дамы, нарядно одетой по моде конца XVIII столетия. Масляные краски заметно потускнели на кукольном мечтательном лице. Это Люсиль Демулен, жена славянолюбивого трибуна Первой республики, «нежная Люсиль», многократно воспетая поэтами и прославленная историками, несмотря на то, что у нее не было никаких заслуг перед революцией, в кипучую и смутную эпоху которой она жила, никаких талантов, кроме умения быть «необыкновенной супругой».

Вот незатейливый узор ее жизни и характера.

В царствование Людовика XVI Люксембургский сад, расположенный в центре старого Парижа, был не менее посещаем, нежели теперь. На просторной, тщательно вычищенной площадке, где в большом бассейне плавали бумажные лодочки, погибавшие от порывов ветра, неизменно тол-

пилась детвора, бросающая мячи вслед пестрым шуршащим змеям. Расфранченные кормилицы, служанки, чопорные воспитатели и кокетливые матери стерегли, окликали и подолгу поучали девочек, затянутых в корсеты и изнемогающих под тяжестью длинных, широких платьев, и мальчиков с туго завитыми кудрями, в широких шляпах, в атласных костюмчиках, отделанных кружевами.

В густых аллеях, куда сквозь листву надменно засматривали каменные королевы Франции, статуи которых разбросаны были по саду, нередко мелькали пестрые тафтовые кафтаны эlegantных кавалеров и шуршали затканые цветами юбки богатых женщин, прячущих лица за веерами.

Люсиль Дюплесси, дочь богатого чиновника королевского министерства финансов, в течение многих лет была постоянной посетительницей Люксембургского сада, расположенного близ дома ее отца. Она приходила туда в сопровождении матери, удачно молодящейся красавицы, падкой до любовных утех. Мать и дочь были очень дружны и откровенны друг с другом, тем более что госпожа Доронна Дюплесси нуждалась в наперснице в дни сердечных тревожений. Люсиль, посвященная во все «тайны» матери, с детства видевшая раздоры родителей, рано потеряла интерес к несложным любовным приключениям и стала желать для себя большой, всепоглощающей любви к верному, доброму мужу. Имея 100 000 франков приданого, барышня Дюплесси относилась недоверчиво к многочисленным, казавшимся ей расчетливыми поклонникам и мечтала о появлении бескорыстного «принца», которому отдаст «руку, сердце и деньги».

В небольшом имении родителей в лунные ночи Люсиль не спала до рассвета. Лунные ночи уподобляли неровный сад со множеством бугорков и клумб кладбищу, белые статуи фавнов и нимф — могильным памятникам и надгробьям. Но Люсиль не замечала этого и не думала о смерти, она плакала от нестерпимой жажды любви. Она была самой обыкновенной девицей, склонной к сентиментальности, выросшей в условиях довольства, роскоши и безделья.

Книги мало интересовали барышню Дюплесси. В дневнике она записывала по вечерам свои горести и печали, наибольшими из них была скорбь по мертвой птичке, найденной на террасе дома, или жалость к распотанному цветку. Мать посвящала ее в свои сомнительные романтиче-

ские приключения, и признания эти будоражили воображение шестнадцатилетней девушки.

В Люксембургском саду еще подростком Люсиль встретила бедно одетого студента, который долгое время смешил ее своим уродством и странным поведением. Он был ряб, с огромным вспухшим ртом и с носом кривым, словно у верблюда. Люсиль часто видела, как неуклюжий незнакомец, думая, что находится в одиночестве, начинал говорить сам с собой, смеяться, встряхивать кудрями, ходить важно и прямо, но, едва замечал чье-нибудь присутствие, тотчас же сгибался, замолкал и становился робким, словно обиженным. Видимо, он стеснялся своей некрасивости и потрепанного костюма.

Барышня Дюплесси всегда, сама не зная отчего, жалела молодого человека, и когда однажды, волнуясь, он подошел к ней в Люксембургском саду, отнеслась к нему доверчиво и внимательно. Очень скоро после знакомства студент, назвавшийся Камиллом Демуленом, родом из сонного городишки Гиза, признался девушке в любви, и любовь эта не была отвергнута. Люсиль ввела Камилла в родительский дом. Снисходительная к молодым людям госпожа Дюплесси-мать, теперь поверенная сердечных дел дочери, встретила гостя с большой добротой, но чиновник министерства финансов презрительно отвернулся, лишь только Камилл Демулен, заикаясь, начал рассказывать кое-что из своей биографии.

Сто тысяч приданого Люсиль не могла преодолеть препятствием между ней и Камиллом. Когда Демулен попытался попросить у господина Дюплесси руку его дочери, то получил столь краткий и решительный отказ, что не смог уже больше бывать в доме Люсиль; снова Люксембургский сад стал убежищем любви молодых людей. Чего только не говорил неутомимый в разговорах молодой адвокат горюющей невесте. Он предлагал ей обвенчаться тайно, умалчивая о том, что не имел постоянной квартиры и обеда даже для самого себя. Упрямый отец не слал ему денег, требуя, чтобы сын приехал заниматься адвокатурой в Гиз, как это сделал его школьный товарищ молодой адвокат Максимилиан Робеспьер, недурно устроившийся в родном городе Аррасе. Но Камилл предпочитал существовать впроголодь, оставаясь в Париже, где, он не сомневался в этом, его ожидало блестящее будущее. Уверенность Демулена в грядущих успехах подбодряла Люсиль, она твердо верила, что «гений» не может остаться незамеченным и нищим. 1789

год оказался волшебной палочкой, принесшей влюбленным желанный брак.

Люсиль, мало читавшая и образованная лишь настолько, насколько это было необходимо для девушки с «приданым», обрадовалась революции, как доброй свахе, которая облегчила устройство семейного гнезда. Камиллу революция дала славу, которую он ценил превыше всего.

Двенадцатого июля 1789 года, едва Неккер, считавшийся ставленником народа на министерский пост, получил отставку, Камилл Демулен протиснулся на страницы истории. Было около четырех часов дня. Нарастающий гул приближающегося восстания уже сотрясал Париж. Осушив для храбрости кружку вина, Камилл вышел из «Café de foi» и смешался с возбужденной толпой, переполнявшей Пале-Рояль. Потрясая пистолетом, он влез на стол, невзирая на вынырнувших со всех сторон полицейских. Несколько тысяч человек повернули с любопытством голову, выискивая глазами человека, который, заикаясь, громко кричал, требуя к себе внимания: «Граждане, нельзя терять ни одной минуты. Я сейчас из Версаля — Неккер получил отставку. Эта отставка предвещает новую Варфоломеевскую ночь для патриотов. Сегодня вечером выступят швейцарские и немецкие батальоны, чтобы уничтожить нас. Нам остается одно только спасение: взяться за оружие, установив условный знак, чтобы узнавать друг друга. Пусть всякий, подобно мне, прикрепит к своей шляпе лист с этих деревьев. Наступил час, страшный час столкновения между угнетателями и угнетаемыми, и у нас один лишь пароль: «Безвременная смерть или вечная свобода». Да раздастся клич: «К оружию!»

Страстность неизвестного оратора заразила толпу. Грозный клич «к оружию» пополз, вспыхивая, как огонь по сухой траве. Двумя днями позже была взята Бастилия, и Камилла опять видели впереди восставших. Заикающийся трибун легко приобрел известность.

В коллеже святого Людовика, где он много лет жил в интернате вместе с Робеспьером, оба мальчика получили основательное классическое воспитание. Брут, Спартак, братья Гракхи, пафос древних ораторов не раз вызывали слезы восторга или вопли бешенства по адресу тиранов у впечатлительного Камилла, и теперь революция сулила осуществление мечтаний Камилла и программы «третьего сословия».

Бросив неудачные попытки стать знаменитым адвокатом, Камилл становится рьяным участником революционных

схваток. Злопамятный, вспыльчивый, неглубокий, но остроумный, он легко обрел то поприще, которое может обеспечить ему видное положение и влиятельную роль. Камилл берет за перо, строчит и распространяет острые и пронизывающие, как штык, памфлеты против контрреволюции, против иностранного монархического блока, против аристократов и вскоре против короля. Он основывает газету «Революция Франции и Брабанта», в которой, изошряясь в злых, но всегда поверхностных шутках, красноречиво отстаивает демократические идеи. Его ближайшие друзья этого времени: Робеспьер, Бриссо, Фрерон, Петигон — все члены клуба якобинцев. Удача во всем следует за Камиллом, он добивается того, что теперь уже господин Дюплесси почитает честью для себя брак дочери с подающим столь большие надежды недавним оборванцем Демуленом.

Одиннадцатого декабря Камилл, получив согласие родителей Люсилы на брак с нею, раздираемый противоречивыми чувствами: любовью, бескорыстием, удовлетворением по поводу свалившегося богатства, пишет отцу: «Сегодня, 11 декабря, я, наконец, вижу себя на вершине своих желаний. Счастье долго заставило себя ждать, но, наконец, оно пришло, и я так счастлив, как только можно быть счастливым на земле. Наконец-то родители отдают мне прелестную Люсиль, о которой я так часто вам говорил, которую я люблю уже восемь лет, и она согласна. Только что ее мать принесла мне эту весть со слезами радости на глазах. Неравенство имущества — господин Дюплесси обладает 20 000 ливров — являлось до сих пор преградой моему счастью, отец был ослеплен предложениями, которые ему делали, он отказал претенденту со 100 000 франков, Люсиль отказала друтому с рентой в 25 000 ливров. Вы сейчас узнаете ее по одной только ее черте: как только мать, поручая мне свою дочь, провела меня к ней в комнату, я бросился к ногам Люсилы и, к великому удивлению, слышу ее смех; я поднимаю глаза и вижу, что с ее глазами дело обстояло не лучше, чем с моими, она совсем растворилась в слезах, слезы лились ручьями, но она вместе с тем и смеялась. Никогда еще не видел я такого очаровательного зрелища, я и в мыслях не мог допустить, что природа и чувство — два столь разительных контраста — могут в такой степени сочетаться. Отец ее сказал мне, что не намерен более откладывать наше бракосочетание, он хочет только передать мне раньше те 100 000 франков, которые он обещал в приданое своей

дочери, и для этого он отправится со мною к нотариусу, как только я пожелаю. Я ответил ему: «Вы капиталист. Вы всю свою жизнь копались в деньгах, я не могу и думать о брачном контракте, а такая сумма смутила бы меня. Вы слишком любите свою дочь, и мне незачем быть представленным при составлении контракта. Вы от меня ничего не требуете, поступайте, следовательно, с контрактом как вам угодно». Он, кроме того, дает мне половину своего столового серебра, которое стоит около 10 000 франков. Прошу вас: не предавайтесь слишком большой радости. Будем скромны и в довольстве... Мы можем пожениться в течение недели. Моя милая Люсиль и я не желаем, чтобы нас еще дольше разлучали. Не навлекайте этой вестью на нас ненависти тех, которые завидуют нам, и заключите вашу радость в сердце, как это делаю я, или дайте ей еще проникнуть в сердце моей милой матушки, моих сестер и братьев. Я теперь имею возможность помочь вам, и это составляет значительную долю радости. Моя возлюбленная — моя жена — ваша дочь и вся ее семья обнимают вас...»

Двадцать девятого декабря 1789 года в церкви Сен-Сюльпис, величественной, суровой и печальной, как феодальный замок, по католическому обряду Демулен обвенчался с Люсилью, которая плакала от радости, принимая поздравления Бриссо, Робеспьера и Петигона, свидетелей бракосочетания. Пышностью брачной церемонии Камилл снова спешит похвастать перед родными в Гизе, всегда к нему столь несправедливыми и никогда не ценившими его должным образом. Старик Демулен дрожащими руками будет протягивать письмо сына друзьям и соседям, удивляясь втихомолку не тому, что «свидетелями были Петигон и депутат Национального собрания Робеспьер, Бриссо де Варвиль и Мерсье — краса журналистов», а тому, что его непутевый сын, так выгодно женившись, породнился с почетным буржуа, господином Дюплесси.

Можно ли описать счастье, переживаемое Люсилью: отныне навсегда исчезнут в ней склонность к меланхолии, слезливость и унылые речи, она становится неутомимой спутницей мужа, вникающей во все его дела, одинаково увлекающейся штопкой его чулок и перепиской его статей, которые волнуют ее своей страстностью. Квартирка Демуленов, удобно и хорошо обставленная тещей и тестем Дюплесси, согрета неутомимыми заботами молодой хозяйки. Усталые патриоты знали, что ужин у гражданки Демулен

всегда подадут отличный, вино будет старое и первосортное, разлитое по хрустальным графинам с переплетенными инициалами «К» и «Л». Женившись, Камилл получил все, о чем смел раньше только мечтать: жену, стремящуюся предвосхищать его желания, собственную квартиру в несколько комнат и деньги, обеспечивающие на много лет вперед отличное существование. Он чувствовал себя всеобщим баловнем и кумиром.

В именин Дюплесси, переименованном после революции в «Замок равенства» вместо «Замка королевы», прохаживаясь по дорожкам в саду, Демулен, жестикулируя, любил поораторствовать, репетируя предстоящие в клубе якобинцев речи. Господин Дюплесси слушал его подчас восхищенно, но чаще сердито ворча в ответ на слова зятя, казавшиеся ему то пустой болтовней, то возмутительной проповедью кровожадности. Господин Дюплесси боялся революции, но еще больше падения курса ценных бумаг, в которых заключалось его состояние. Одна Люсиль не уставала восхвалять все, что делал или говорил муж, и когда у нее не было убедительных доводов, она обиженно и упрямо повторяла: «Ну что ж, когда я и нахожу недостатки в Камилле, я их люблю».

К политической деятельности мужа Люсиль относилась, как относилась бы ко всякой другой его профессии. Будь Демулен врачом, Люсиль почитала бы медицину и лечила бы вместе с ним больных; когда Камилл в 1792 году попробовал было заняться адвокатурой, Люсиль добросовестно вызубрила таблицы законов и утверждала, что юридические науки наиболее нужные и полезные для блага человечества. Если бы Камилл был монархистом, его жена ненавидела бы революцию, но Камилл был революционером, и этого было достаточно, чтобы определилось мировоззрение Люсилы. Главное и единственное необходимое для ее спокойствия было не расставаться с мужем, и она достигла того, что каждый день теснее соединял их. По вечерам, когда Камилл писал свои памфлеты и статьи для газеты, Люсиль обязательно сидела поблизости, занимаясь рукоделием или попросту раскачиваясь на качалке, покрытой веселыми подушечками. Едва Камиллу приходила в голову счастливая мысль, цветистое сравнение или цитата из древних, он патетически прочитывал жене, которая отвечала восторженным одобрением. Она гордилась тем, что не умела критиковать Демулена.

Шестого июля 1792 года у Люсилы родился сын, названный Горацием. Камилл собственноручно отнес сына в общинное управление, где мальчик получил республиканское крещение, без религиозных церемоний; его именем открыли первую книгу актов гражданского состояния. В заявлении о рождении сына Демулен писал: «Я хотел избегнуть упрека, который мог бы мне сделать когда-нибудь мой сын за то, что я клятвой связал его с теми религиозными взглядами, которые, быть может, не будут его взглядами, что при вступлении его в мир я связал его легкомысленным выбором с одной из 900 или еще более религий, исповедуемых людьми, тогда, когда он еще не узнавал своей матери».

После рождения ребенка Люсиль целиком отдалась семье, но события 10 августа, в которых участвовал Демулен, вырвали ее на время из сферы маленьких интересов домашнего быта. 10 августа 1792 года парижский люд штурмовал Тюильри и низверг Бурбонов, и в эти дни Люсиль впервые поняла, какую опасную профессию избрал ее муж. Она пишет в своем дневнике 12 августа:

«Восьмого августа я вернулась из деревни. Во всех умах царило уже сильное брожение. Хотели убить Робеспьера. Девятого у меня обедали марсельцы, мы были довольно веселы. После обеда все мы были у Дантона. Дантон был полон решимости. Я лично хохотала, как безумная. Они боялись, что из этого дела ничего не получится. Хотя я была далеко не уверена, я говорила им, как будто знала наверное, что удастся. «Но только как можно так смеяться», — сказала мне мадам Дантон. «Ах, — ответила я, — это, может быть, предзнаменование того, что я сегодня вечером буду много плакать...» Погода была прекрасна, мы погуляли по улицам, было много народа. Мы снова вернулись и расположились перед кафе. Мимо нас прошли несколько санкюлотов с криками: «Да здравствует нация!», затем конные войска, наконец огромная масса народа. Меня объял страх. Я сказала мадам Дантон: «Вернемся домой». Она посмеялась над моими опасениями, но мой разговор об этом зародил и в ней беспокойство, и мы пошли. Я сказала: «Будьте здоровы, скоро вы услышите звук набата». Вскоре я увидела, как все вооружились. Камилл, мой дорогой Камилл, пришел с ружьем. О боже, я спряталась в алькове, закрыла свое лицо руками и заплакала, но тем не менее я не хотела выказать свою слабость и не решалась сказать Камиллу, что мне нежелательно его вмешательство в эти дела. Одна-

ко я уловила минутку, когда я могла говорить с ним без боязни быть подслушанной, и я высказала ему все, чего я опасалась. Он успокоил меня и сказал, что не оставит Дантона. Между тем я узнала, что он подвергался опасности.

Фрерон имел вид, как будто он решился на смерть. «Я устал жить, — говорил он, — я желаю только смерти». Я перешла в пустую гостиную, где не горел свет, чтобы не видеть всех этих приготовлений. На улице было пусто. Все люди разошлись по домам. Наши патриоты собрались уходить. Я уселась возле кровати, подавленная, уничтоженная, несколько раз я засыпала, и когда я пробовала говорить, то получалась одна чушь. Дантон прилег. Он не имел вида занятого человека, он почти совершенно не выходил из дома. Приближалась полночь. Несколько раз заходили к нему. Наконец он отправился в Коммуну. Кордельерский колокол звонил, звонил долго. Совсем одна, в слезах, на коленях у окна, уткнув лицо в платок, я прислушивалась к звону этого рокового колокола. Напрасно приходили люди меня утешать. Мне казалось, что я догадываюсь об их плане отправиться в Тюильри. Рыдая, я сказала им об этом. Я чувствовала, что упаду в обморок. Напрасно мадам Робер спрашивала о своем муже, никто ей не давал сведений. Она думала, что он пошел с предместьями. «Если он погибнет, — сказала она мне, — я не переживу его. Но этот Дантон — центр всего. Если мой муж погибнет, я буду в состоянии его заколоть». Камилл вернулся в час, он заснул на моем плече. Мадам Дантон была рядом со мной; она как будто готовилась встретить известие о смерти своего мужа. Я тоже легла и заснула под звон набата, который раздавался теперь со всех сторон. Затем мы встали. Камилл ушел, обнадежив меня, что не будет подвергаться опасности. Вдруг мне показалось, что раздался пушечный выстрел. Мы слышали крики и плач на улице, мы думали, что весь Париж плавает в крови. Затем мы набрались мужества и отправились к Дантону. Кричали «к оружию», каждый спешил туда. Мы хотим быть свободными. Ах, боже, как дорого приходится платить за это. Довольно долго мы оставались в неведении. Потом пришли люди и сказали нам, что мы победили. На следующий день, двенадцатого, я узнала, что Дантон стал министром».

О тех же событиях и последовавших затем своих успехах 15 августа Камилл сообщает:

«Дорогой мой отец!

Из газет вы узнали о событиях 10 августа. Остается мне сообщить вам о том, что касается меня лично. Мой друг Дантон милостью пушки стал министром юстиции, этот кровавый день должен был в частности для нас обоих кончиться нашим возвышением к власти или к виселице.

Он сказал в Национальном собрании: «Если бы я был побежден, я был бы преступником».

Дело свободы победило. Вопреки всем вашим пророчествам, что из меня ничего не выйдет, я достиг высшего положения, которое было доступно человеку моего происхождения; я далек от того, чтобы из-за этого стать более тщеславным, наоборот, теперь я гораздо менее тщеславен, чем десять лет тому назад, потому что теперь я стою меньше в отношении фантазии, пыла, таланта, темперамента и патриотизма, которых я не отделяю от чувства гуманности и любви к себе подобным, потому что все это остыло за эти годы.

Но моя сыновья любовь не охладела, и сын ваш, ставший ныне генеральным секретарем департамента юстиции или тем, что обычно называется секретарем печати, надеется, что вскоре сумеет доказать вам это».

Во время процесса Людовика Люсиль становится постоянной посетительницей Конвента. Ей немного жутко, когда сторонники и противники смертного приговора королю распеваются в дебатах до того, что вот-вот готовы броситься в драку друг с другом. Но она твердо помнит, что ей, по примеру Камилла, нужно быть за казнь короля, и, когда участь Людовика решена, она восклицает: «Наконец-то мы торжествуем!» Люсиль изливает с подогретым пафосом в дневнике свою ненависть к королеве. «О злодейка, — пишет она, обращаясь к Марии-Антуанетте, — женщина, не заслуживающая, чтобы тебе светило солнце. Как, ты думаешь, что месть небес не упадет на твою голову, что ты победишь? Нет, быть может, уже близок день, когда бедствия, причиненные тобой, обернутся против тебя, ты будешь рыдать тогда, но будет поздно, никто не сжалится над тобой. Вспомни со страхом об участи королей, которые, как ты, творили зло. Смотри: одни из них погибли в нищете, другие взошли на эшафот, вот участь, которая, быть может, ждет и тебя».

События шли своим чередом. Жиронда, избравшая тактику гнилых компромиссов и протестовавшая против казни Бурбонов, сама попадает на скамью подсудимых в Революционном трибунале, а затем на эшафот. Люсиль была связана в самом начале революции благодаря Камиллу уза-

ми дружбы с Бриссо и Петрионом; она впоследствии вспомнит о том, что Бриссо соединил ее руку с рукой Камилла. Но во время борьбы с Жирондой и разгрома жирондистов жена Демулена ни словом не отмечает происходящего в своем дневнике. Якобинец Демулен ведет бешеную атаку на Бриссо и бриссотинцев — и они перестают существовать для Люсиль еще раньше, чем их настигает кровавая развязка.

Разве могла она сомневаться в правильности того, в чем был уверен Камилл. Люсиль знала и охотно повторила бы все его доводы в пользу казни недавних друзей, но, кроме господина Дюпlessи, никто из окружающих ее и не пытался бы спорить и защищать врагов революции.

Едва навсегда замолкли жирондисты, как Демулен повернул оружие против недавних союзников в борьбе с бриссотинцами, против левых.

«Ужасные бешеные» особенно возмущали Люсиль; не имея достоинств жирондистов, их изысканного красноречия, учености, изящества, они смели нарушать спокойствие состоятельных граждан, стремясь обеспечить чрезмерные преимущества беднякам, которых, по мнению Люсиль, вполне достаточно одарила революция. Их посягательства на право частной собственности и личной свободы попросту изумляли жену Демулена, как наглая бессмыслица. Какой вред, наивно спрашивала она, мог быть для свободы в том, что ее родные имели крупную ренту, имение и серебряные сервизы, составлявшие приданое и наследство дочери. Но не только «бешеные», но и близкие к ним по настроению «эбертисты» вызывали ее возмущение. К тому же один из них, Шометт, который дошел до такой пакости, как не раз думала Люсиль, что посмел громогласно отрицать существование бога, был нехорош собой, невежлив и не стеснялся в обществе дам выражаться так, как будто был «среди простонародья». Слушая Камилла, который ругал эбертистов за их налоговую политику, обременявшую богатых, Люсиль никогда не забывала напомнить о том, что «расфранченный грубиян», редактор «Отца Дюшена», опять, проходя мимо нее, «неприлично засмеялся». Его жене, г-же Эбер, тоже неизменно доставалось от «нежной Люсиль» за пестрые, безвкусные наряды и простоватое лицо.

Узнав, что Камилл вновь приступает к изданию газеты, его жена громко высказывала свою радость, предвкушая расправу с эбертистами. Она знала по опыту с Бриссо,

какая опасность таится в пере влиятельного журналиста. В конце 1793 года вышел первый номер «Старого кордельера», просмотренный еще благожелательным Робеспьером; впрочем, в дальнейшем, когда Робеспьер почувствует, что под видом нападения на ультраевых метят в него самого, политическая распря навсегда разбросает Максимилиана и Камилла по разным лагерям.

Равнодушная прежде к пролившейся крови главарей Жиронды, Люсиль все чаще пугалась теперь того, что террор принимает массовый характер и на эшафоте умирают то бывший поклонник матери, то родственник, то знакомая дама. В такие дни Люсиль не раздвигала кисейных занавесок и пряталась в комнате сына от страшных, еще ни на чем не основанных опасений, что и ее ждет смерть на помосте. В такие дни она встречала возвращающегося домой Камилла бессвязными мольбами немедленно бросить Париж и ехать в имение, где можно, занимаясь хозяйством, жить в мире и спокойствии. Но все же это были только редкие приступы, от которых оказался не свободным и Камилл — слабый, неврастенический и поверхностный политик, к которому и в 1793 году отлично подходила характеристика, данная ему тремя годами раньше Маратом:

«Несмотря на весь ваш блеск, вы еще неопытны в политике. Вы больше принесли бы пользы отечеству, если бы ваш шаг был увереннее и тверже, но вы в своих суждениях шатаетесь из стороны в сторону: сегодня порицаете то, что одобрите завтра. По-видимому, у вас нет представления о таких вещах, как план или цель».

Предчувствуя и опасаясь того, что будущее несет ему и Люсиль потрясения и беды, Камилл в письме к отцу высказывает, между прочим, и такие беспокойные, пессимистические мысли: «Почему я не могу оставаться неведомым настолько же, насколько я известен. Где то убежище под землей, которое укроет меня с моей женой, моим ребенком и моими книгами от взоров всех?» Он тщетно ищет путей отступления: дезертировать поздно. И надеясь, что спасение в победе, он развивает неистовое наступление на противников в лагере эбертистов. Но Люсиль еще гонит от себя страх перед надвигающимся несчастьем, она усердно приглашает гостей и старается воскресить прежнюю беспечность, дарившую в ее доме на улице Одеона. Однажды, в тот момент, когда прислуга вносила в розовую столовую поднос, уставленный севрскими чашками с дымящимся шо-

коладом, Люсиль, ударяя по столу своей маленькой ручкой, с шутливым вызовом говорит, обращаясь к друзьям Камилла, которые предостерегают его от словесного поединка с Робеспьером: «Позвольте ему исполнить свою задачу, пусть он спасет родину». И, кокетливо ставя чашки на стол, очаровательная Люсиль добавляет: «Тот из вас, кто будет ему мешать в этом, не получит от меня ни капли шоколада».

Игривое настроение Люсилли, однако, длится недолго. В самом конце 1793 года она не раз делится своей тревогой с семнадцатилетней женой Дантона Луизой. Но робкая, религиозная подруга не интересуется политикой, боится крови и не знает, что ответить на горячие доводы жены Демулена о том, что нужно «убрать Шометта и его банду» для того, чтобы навсегда разобрать и сжечь гильотину. Прицкая жену Дантона, Люсиль свысока говорила об ее умственной ограниченности, удивляясь тому, что могло так понравиться Дантону. Она осуждала Мариуса (кличка Дантона) за совершение брачной церемонии у неприсягнувшего священника, за охлаждение к государственным делам после женитьбы и за готовность пропустить заседание и оставить приятелей, лишь бы не уходить из дома или проехаться с Луизой в свое имение.

С начала 1794 года Камилл Демулен в «Старом кордельере» повел чудовищную кампанию против эбертистов. Не оставаясь в долгу, эбертисты отвечают нападкамии на дантонистов и Демулена, который в своей газете доходит даже до того, что требует восстановления религии — этого «рычага законодателя», и, готовя гильотину своим противникам, демагогически взывает о милосердии для всех прочих граждан.

Сперва обнадеженная полемическим воодушевлением мужа, Люсиль понемногу опять возвращается к страху, к прежней боязни предстоящего. Посещая якобинский клуб, бурлящий и грозный, читая газеты, она начинает отдавать себе отчет в том, что попытка встать против революционной стихии несет ее мужа к бездне. Кто может еще спасти дело ее Камилла?.. Дантон?.. Но он самонадеян и уверен в том, что революция не решится посягнуть на головы его единомышленников: Фабр д'Эглантин беспринципен и невлиятелен; есть еще один друг — Фрерон, на его участие Люсиль может надеяться, помня, как упорно он уверял ее в своей любви. К Фрерону пишет Люсиль, умоляя его при-

ехать в Париж на помощь Камиллу, и жалуется на травлю, поднятую и против нее эбертистами:

«Эти чудовища осмелились упрекнуть Камилла в том, что он женился на богатой женщине... Ах, пусть они никогда обо мне не говорят, пусть они забудут о том, что я существую, пусть они поселят меня в пустыне. Я ничего не требую от них, я оставляю им все, чем я владею, чтоб только не быть вынужденной дышать тем же самым воздухом, что и они. Если бы я могла забыть их и все страдания, которые они нам причинили! Жизнь становится для меня тяжелым бременем. Сладкое, чистое счастье, тебя похитили у меня. Мои глаза наполняются слезами, я скрываю эту страшную боль в глубине сердца, я показываю Камиллу веселое лицо, я притворяюсь мужественной, чтоб и он был мужествен». Но Фрерон отделяется шуточным ответом и остается в провинции, не желая рисковать головой.

Неслыханно заостренные полемические наскоки Демулена вызывают озлобление демократических мелких буржуа, руководимых Робеспьером: они подозревают в нем предателя. Люсиль падает в обморок в клубе якобинцев, когда Эбер предлагает исключить Камилла из членского списка, по примеру клуба Кордельеров. Две незнакомые женщины участливо выводят жену Демулена в еще безлиственный, сырой от зимних дождей сад бывшего монастыря св. Якова и стараются ее успокоить, но она вырывается, падает на землю, стонет, точно уже слышит смертный приговор, произнесенный Демулену. Быть исключенным из клуба да еще по обвинению в сношениях с реакционером и изменником генералом Диллоном! О, Люсиль знает хорошо, чем это грозит. Когда она опять входит в зал клуба, с защитой Камилла выступают Дантон, Колло д'Эрбуа и наконец Робеспьер. Максимилиан, стремящийся в первую очередь уничтожить «крайних левых», в чем удачно ему помогал Демулен, еще не желает нанести удар дантонистам, хотя некоторые из них и кажутся ему излишне уклонившимися вправо.

В истерическом напряжении Люсиль ловит слова Робеспьера. С трудом она разбирает смысл речи «неподкупного», он говорит об очевидном безумии редактора «Старого кордельера» и предлагает не исключать его, а ограничиться только сожжением вредной и бессмысленной газеты.

Едва замолкает Робеспьер, на трибуну вскакивает посевший, растрепанный Камилл. Непрестанно заикаясь, он старается перекричать ревуший зал. Теряя всякую сдержан-

ность и осторожность, Демулен, чтобы разоблачить тонкую игру Робеспьера, заявляет, что «Старый кордельер» просматривался Максимилианом, и требует его к ответу как своего соучастника. Хладнокровно и кратко, нисколько не желая быть объявленным союзником дантонистов, Робеспьер напоминает Камиллу, что просмотрел не более двух номеров газеты. Изнемогающая от беспокойства и нервной дрожи, Люсиль присутствует при исключении Камилла из членов Якобинского клуба.

С момента исключения Камилла из клуба над его домом повис ужас. Стук об мостовую ружейного приклада, грузные шаги пешеходов, громыханье кареты или телеги бросали Люсиль к окну. Она прижималась к стеклу, плохо видя заплаканными глазами, шептала наивные молитвы и кутала лицо в занавеску, если не могла сдержать громкое рыданье, чтобы не слышал Камилл, который то сидел, молчаливо и тупо уставившись в одну точку, то писал без конца, зачеркивая и начиная сызнова, то принимался неестественно весело играть с сыном. Иногда, не желая ни на минуту расставаться с мужем, Люсиль сопровождала его в Конвент или к друзьям.

В ночь с 30 на 31 марта Люсиль долго не ложилась спать. Камилл, опустив на руки голову, сидел у стола, на котором лежало письмо его отца, сообщавшее о смерти жены, суетливой и доброй старушки. Смерть матери, как предзнаменование, потрясла Камилла. Люсиль тихонько вышла из столовой, оставив мужа наедине с его тяжелыми думами. Беспокойно прислушиваясь к ночной тишине, она принялась за свой ночной туалет: расчесала волосы и одела чепец — как вдруг где-то на улице прозвучали, приближаясь, чьи-то шаги, ровные и гулкие, как бой барабана. Заслышав военную команду, Люсиль бросилась к Камиллу, растерянно поднимавшемуся из-за стола. Увидев жену, он прошептал, точно прохрипел агонически: «Меня пришли арестовать».

Люсиль закричала протяжно и жутко впервые уже тогда, когда лица смолкла и патруль, уведший в Люксембургскую тюрьму Камилла, скрылся за поворотом. Но вместе с вырвавшимся воплем, услышав который прислуга заохала, думая, что госпожа сошла с ума от горя, к Люсиль возвратилась непреодолимая потребность действия. Она рвалась к Камиллу, без которого не хотела жить, как тигрица к похищенному детенышу, и готова была любой ценой рассчитать-

ся с теми, кто посмел забрать у нее мужа. Днем и ночью, неряшливо одетая, Люсиль металась по городу, по разным учреждениям или стояла, как загнипнотизированная, в Люксембургском саду, против тюрьмы, где находился Демулен. Иногда на улице она вдруг разражалась бранью и угрозами по адресу правительства, вызывая пугливые, сострадательные взгляды прохожих. Желая разделить заключение Камилла, Люсиль стремилась быть арестованной. «Почему я на свободе? Думают ли люди, что я не осмелюсь поднять свой голос лишь потому, что я женщина? Рассчитывали ли они на мое молчание?» — говорила она.

Бросаясь от одного средства освобождения Камилла к другому, она пробует написать, напоминая о бывшей дружбе, Робеспьеру, которого считает наиболее влиятельным человеком в Париже. В ее письме к нему перемешаны мольбы и обвинения.

«Камилл видел, как зарождалось твое честолюбие, — пишет Люсиль, — он предчувствовал тот путь, которым ты пойдешь, но он помнил вашу старую дружбу и, далекий как от черствости твоего Сен-Жюста, так и от твоей низкой зависти, он отбросил мысль поднять обвинение против своего школьного друга».

Робеспьер не ответил на письмо Люсиль, и его молчание она поняла как приговор. Отчаянье придает ей отвагу и толкает на безрассудные поступки. В бессонные ночи в ее воспаленной голове зарождаются невыполнимые проекты: то она хочет стать во главе восстания, которое освободит Камилла, то вдруг ей кажется возможным подкупить тюремщиков и устроить узнику побег.

Истерические стенания Камилла в его последних письмах к жене звучат в ушах Люсиль как призыв к мести, они разъедают ее мозг. В одном из них Камилл пишет, как бы упиваясь своими муками:

«...О моя дорогая Люсиль! Моя горячо любимая. Я невинен, но часто чувствую себя слабым как супруг, отец и как сын. Если бы еще Питт или Кобург так жестоко обращались со мной, но не мои же коллеги: не Робеспьер, подписавший ордер на мой арест, не республика после всего того, что я сделал для нее. Вот награда за все мои добродетели и жертвы... — пишет Демулен, забывая о своих роковых ошибках и готовности ослабить силы революции пропагандой реакционных и вредных идей. Ничто не могло спасти его, когда он попытался задержать поднимающийся все выше

и выше революционный вал.—Я только что вернулся с допроса у комиссаров правительства, — продолжает он. — Меня спросили, не находился ли я в заговоре против республики. Какая чепуха! Неужели можно так позорить республиканца чистейшей воды. Теперь я вижу, какая участь ждет меня. Прощай... Прости меня, моя возлюбленная, настоящую свою жизнь я потерял в ту минуту, когда нас разлучили, прости мне, что теперь я живу своими воспоминаниями. Я должен был бы постараться, чтобы ты забыла о них. Моя Люсиль, мой добрый Лулу. Живи для Горация, рассказывай ему обо мне. Ты скажешь ему то, чего он от меня не сможет услышать, что я его очень любил.

Несмотря на то, что я иду на казнь, я верю, что есть бог. Моя кровь искупит мои ошибки, слабости человечества, а то, что было во мне хорошего — мои добродетели, моя любовь к свободе, — будет вознаграждено богом. Я увижусь с тобой, Люсиль. Разве при моей чувствительности смерть, которая освободит меня от зрелища стольких преступлений, такое уж большое несчастье? Будь здорова, моя жизнь, моя душа, мое блаженство на земле... Я вижу, как бежит от меня берег жизни. Я вижу еще Люсиль. Я вижу ее, мою горячо любимую. Моя Люсиль, мои связанные руки обнимают тебя, и голова моя, уже оторвавшаяся от туловища, глядит все еще своими умирающими глазами на тебя».

Накануне казни дантонистов Люсиль видели перешептывающейся со сторожем Люксембургской тюрьмы. Сен-Жюст в Комитете общественного спасения сообщил, что обезумевшая и разъяренная против патриотов жена Демулена пытается организовать мятеж в тюрьмах, что ее главным сообщником является генерал Диллон, гнусный изменник, заключенный в Люксембургской тюрьме.

Пятого апреля, в полдень, на опустевшей площади возле гильотины стояла телега, на которую, разговаривая о погоде, урожае, детях, палач и его помощники складывали тела только что умерших дантонистов. Головы казненных рослый мускулистый Сансон, любовно вынимая из корзины, подолгу рассматривал, прежде чем бросить на грудь туловищ, сваленных раньше. Мертвый Камилл с открытыми, выпученными глазами не понравился Сансону, брезгливо вспомнившему, как только что дрожал и боялся Демулен гильотины.

Люсиль пошла в тюрьму, словно на зов Камилла, спокойно и радостно. Мистическая вера в бога сулила ей встре-

чу с Камиллом, и смерть становилась желанной. После короткого допроса вдова Демулен была осуждена на смерть.

Хладнокровно выслушав приговор, Люсиль сказала: «Итак, я скоро буду опять иметь счастье видеть своего Камилла».

Из тюрьмы она написала матери прощальную записку: «Доброй ночи, моя милая мама, слеза падает из моих глаз: она для тебя. Я усну покоем невинности».

Разодевшись для казни, как для желанного свидания, Люсиль Демулен спустилась к воротам тюрьмы, где приговоренных ждала тележка палача. Ее белую вуаль, наброшенную поверх волос, как когда-то во время венчания в Сен-Сюльписе, то развеивал, то пригибал к земле весенний ветер. В «тележке смерти» Люсиль увидела бывшего прокурора Коммуны Шометта и госпожу Эбер, которых, как и ее, везли на гильотину.